

РЫЦАРЬ ВЕРУЮЩЕГО НЕВЕРИЯ, ИЛИ ПРОГУЛКИ В САДАХ РОССИЙ- СКОЙ СЛОВЕСНОСТИ-2: ЛУРЬЕ

Как-то по случаю, держа в уме Тынянова, я написал об Александре Мелихове: это литература не винного, а – уксусного брожения.

Лурье – литература не уксусного, и не вино-шампанского, а водочного – соответственно, и не брожения, а как бы это точнее... Скажем так: не знаю, пьет ли Лурье водку, но его сладостно горькая словесность, где все смех и горе, где сквозь видимый миру смех (и желчь, и ехидство) проливаются не всеми зримые слезы скорбной любви, – эта удивительная прозопоэзия, невзирая на упомянутые в книге пиво, меды и финиковое вино, – отчетливо водочная. Как говорил когда-то спяну покойный художник Виктор Попков другому художнику: «Ты не слова – ты мою душу слушай!».

С тою оговоркой, что душу Лурье – и доносимую сквозь нее душу русской словесности – можно услышать не помимо слов, но *только* через эти странно летящие вперед, но оборачивающиеся по ходу лета назад слова.

Впрочем, водочное русское в ходу не только у русских. Вот и немецкая телереклама: Крайний Север, айсберг, идеже бродит белый медведь, – и вдруг, взрывая айсбергов лед, из него вылетает бутылка немецкой русской водки «Пушкин» – и надпись: «Пушкин. Медведь в человеке».

Выпьем же водки «Пушкин» не за медведя в северном человеке, а за человека в северном медведе. И немедленно выпьем. За входящего – и не исходящего – Самуила Лурье.

Словесность его не блестяща, а – блистательна.

Полувоздушна.

Притом что повествует больше о тяжелом.

Но послушна смычку волшебному Лурье. За чем стоит – кто понимает – работа иже есть работа есть работа.

Это именно айсберг – и под полувоздушной своей вершиной содержит, вопреки набоковскому «Гемингвэю, современному заместителю Майн Рида» (хотя по мне, так и Томас Майн Рид гений, по крайней мере, однажды – в «Морском волчонке»), не подтекст, а вышеупомянутую каторжную работу.

За журавлиным клином его строки, по ходу лёта оборачивающейся назад – и предназначенной конгениальному читателю гениального читателя-писателя для расшифровывания с тою же, стенографической, скоростью (как это у самого С. Л.: «Бывают у Пушкина такие глубокие инверсии – вроде зеркального шифра – с обращенной симметрией. Помните?». Помним: это – пусть в малой степени – еще помним, а вот остального, что хранит в своей волшебной памяти С. Л., – не то что всего, а и части не упомянешь, потому что и не знал...), – стоит *прекрасная ясность*.

А за ней, повторю, *толково-толковая* работа. Очень тяжелая и для филолога, не то что для культурного читателя = гуманитария as himself.

Такая работа должна быть тяжеловато скучна для читателя, если он не специалист. Последнему положено с толком пытьеть и потеть: степени кандидата-доктора просто так, с комфортом – не добывают.

Но читать Лурье – может, как раз потому, что он не остепенен и не степенен, хотя, не дай Бог, и станет достойным доцента, – не то что не скучно, а некоторым образом упоительно. До запоя. Просто как в детстве – «Остров сокровищ» или «Робинзона Крузо».

Это почему так?

А это потому так – только потому и может так быть, – что Лурье самому читать без конца и края интересно до невозможности. Он все никак не пресытится чтением – и по сей день с дет-

ским интересом (и фандоринской вдумчивостью) перечитывает по которому разу этого самого «Робинзона». Или его фантазмагорическое: «В пятый раз перечитаю, в шестой – пока не расплету, как сеть из конского волоса... эту необозримую сказку, называемую "Смерть Артура"...» (курсив мой – Ю. М., – я, грешный, и один раз огромный роман сэра Томаса Мэлори с трудом дочел до конца: казалось, в мои большие 23, надо бы с понтом это вот, где все время стражаются на копьях и мечах, читать лет в 13...).

Это из книжки «Такой способ понимать». Я имею в виду и другие книги Лурье, но сейчас буду писать именно об этой – как потому, что другой «под рукой» нет: его книжки и в России пощи, за большой востребованностью при малом тираже, а здесь и подавно, – так и потому, что необъятного объять нельзя, а для понимания С. Л. вообще она, ИМХО, и одна – достаточно «капитальна».

Таких книгоцеев на моей памяти не было и в брежневские культкнижные времена, а сейчас их нет как нет – как говаривал Зоценко, это не факт, а чистая правда.

Из ряда вон: очень взрослому человеку, будь он и книгоцей, не надоедает же читать не только про Гринева или Башмачкина, т. е. персонажей, но ему позарез занимательно знать и то, что **о** сами эти персонажи читают, – и если персонаж упоминает «Придворный Календарь» 1772 г., то Лурье не терпится узнать: а что Гринев-старший вычитал в этом календаре? или вот в церковном «Месяцеслове» какие *на самом деле* имена на такое-то число такого-то месяца стоят рядом с именем святого мученика Акакия, правда ли, что те самые, которые у Гоголя? – и он находит: интересно же (другое дело, где его взять, этот «Календарь»? А в библиотеке, да не просто на выдаче, а в каком-нибудь архиве или там спецхране или отделе редкой книги... нет, подумайте! Кто шевельнется? А вот Лурье не лень шевельнуться, интересно же), – и такие удивительные штуки выходят!..

Или: кто полезет – если опять же не диссертацию пишешь – в переписку Некрасова, бедного богатого страдальца за бедный-бедный народ? Да и в стихи его... Отошел, отграл зеленый шум, уже и савраска увяз в половине сугроба, и Орина-то-мать солдатская свое отревела. «Спокойно, мать, иди скорей в кровать», – все это нытье пора сдавать в архив, и хоть по бокам-то по-прежнему всё косточки русские, да динамика их безымянна утаптыванья по бокам – другая, в темпе очереди «калаша», – а с ней и наше восприятие, ритмически не выносящее долгих, унылых некрасовских трехстопников...

Так кто полезет копать еще и в письмах Некрасова? Или то же с другого бока – кто увидит в его сомнительном вкусе, тягостном однообразии смысла, в версификации, временами переходящей грань фола, – кто расслышит, все это по ходу замечая и восхитительно формулируя (у, язва!), во всем этом – высокую ноту гениального плакальщика – и всхлипнет, и заплачет вместе с ним, и все, все поймет в нем и все простит ему, народному страдальцу, за карточную ночь спокойно проигрывавшему сумму, которую не давали Достоевскому за «Преступление и наказание» и «Идиота», вместе взятых? Кто способен не только понять и простить, но и зарыдать и, главное, самое главное, влюбить тебя в этот ноющий всхлип (на котором кончается мир у Элиота, но зануда Некрасов никак не закончит), обратить этот всхлип высокой заплачкой – для читателя, во все к нытью (как и сам эссеист) не расположенного? Да кто же, кроме Лурье.

А кто раскрутит по винтикам (да он даже не Фандорин с его «это раз; это два; это три» – он Холмс с его «Вы, Ватсон, помните о ступеньках при входе в наш дом, только что их *много*, а я помню, что их *семнадцать*», – вот и Лурье всегда, в любом тексте отыщет и назовет не менее семнадцати ступенек) кажущийся безусловно логичным пушкинский «Анчар» и обнаружит, и покажет читателю все непонятные разрывы стихотворения без скреп в его ломаных *внезапностях* – и при этом задумается, и сам не поймет, но удивится так, что оставит и читателю чесать в затылке: «И отчего в этом стихотворении, таком на вид простодушном, звук столь необыкновенной силы: как бы голос трубы над пустыней, – верней, как бы трубный глас?»? Ну да, Лурье же, кто еще.

А кто, вставив в фетов текст всего несколько слов: «Потому как не жизни – вы же знаете – не жизни жаль с томительным дыханьем – что жизнь и смерть? – а жаль, понимаете ли, того огня, что просиял, несмотря ни на что, над целым мирозданьем и в ночь идет, и плачет, уходя», – вставив пять-шесть слов от себя и среди них пару чисто окуджавовских оборотов, и завершив

тем эссе «Фет: жизнь и смерть», делает весь абзац, сохранив гениальность строк Фета, чисто своим, пронзительным, как вся лучшая русская словесность? Опять же – он самый, Л.

И так далее. И тому подобное.

Вот от этого – определенного до полной неопределенности – места Лурье в нынешней литературе – «вот от этого места поподробней».

Можно долго говорить об этом феномене синтеза знаточества, слога, где ни одного лишнего слова, и удивительной непредсказуемости своего взгляда на привычные классические вещи, о выпуклой радости узнавания и сообщения этой выпуклости читателю, о сталкерстве лурьевской эссеистики, о нежданно-негаданном «сопряжении далековатых идей» (что, по Ломоносову, и есть сущность поэзии). Можно и нужно говорить, как это делает автор предисловия Леонид Кроль. Это все точно и красиво сказано.

Однако что-то остается – читая после предисловия саму книжку, – и отстаивается в остатке. Не в сухом, а промокшем (каюсь, каюсь) от слез или водки, или слез с водкой пополам (надо, надо разбавлять – и вообще «пора освежиться»). Вот этот-то остаток, освежась, и хотелось бы прояснить. О чем и пойдет речь ниже, по крайней мере.

Это всего лишь мнение. Но оно есть.

Словами самого Лурье: «Но это же очевидно!».

Вот такой у нас вышел способ понимать его способ.¹

Этот, на первый взгляд, всего-навсего сборник всего-навсего ошарашивающих отдельных эссе – на самом деле, по нашему мнению, есть целостное философско-, а где-то едва ли не богословско-, но безусловно художественное произведение, где все литературные герои, их авторы, а то и другие «реальные» исторические лица, есть на самом деле собственно персонажи их автора – Лурье, а каждое эссе – глава. Всего 29 глав, расположенных не случайно, но подчиняющихся единому ясному – думал ли сам автор об этом аль нет? а ты, читатель, если ты есть, ау! слышишь? ты, если хочешь, автора и спроси, кто мешает, – повинующихся ясному, хотя и тайному плану развития внутренней художественной логики.

И в этой книге, как во всякой подлинной книге, запечатан и запечатлён сокровенный, но явственный мессидж. Послание.

А оно таково. По нашему мнению.

Выписываю из первого же эссе-главки «Бином Хайяма»: «...мироздание подобно империи: управляется законом неблагоприятных для человека случайностей – необозримый концлагерь, где единственный неоспоримый факт – смертный приговор, а принадлежит лично нам лишь неопределенное время отсрочки...». Хайяму, кроме отсрочки, по Лурье, принадлежит еще и эта максима, но для нас это вопрос, а вот то, что она есть исходное утверждение Лурье, – для нас без вопросов.

Потому что в эссе-главке «Какова загробная жизнь» о Сведенборге он молвит уже от себя: «Лично я все-таки подозреваю, что Вселенная – тоталитарная система».

А в главке «В пустыне, на берегу Тьмы» об «Анчаре» говорится: «Стало быть, игрушка (сотворение человека и все дальнейшие консеквенции – Ю. М.) задумана была как заводная – или на батарейках – в общем, с ограниченным сроком годности. Выходит, предусмотрен был и акт смерти – то есть, конечно же, самоубийства – разумеется, с применением оружия биологического (какого же еще?): действующего, например, как интеграл уже испытанных идей – дерева и змея». Это уже не подозреваю, а безоговорочно.

Итак, тезис: Творец и Законодатель этого мира тотально зол. И созданный Им мир – не просто юдоль печали. Он издевательски вывихнут, он задуман и создан как концлагерь, где все настоящее, кроме смерти, – мир, по сравнению с которым Освенцим и Колыма – детский сад: они все же обозримы конечно-миллионно, тогда как жертвы Творца – а жертвы тут именно все – вообще счету не подлежат.

А главное издевательство в том, что Гитлер и Сталин пользовались по крайней мере не ими сотворенным, а уже наличествующим человеческим материалом (в конце концов, раз уж он есть, и его даже слишком много, надо же с ним что-то делать, если взял над ним контроль, то

¹ Нижеследующее родилось в разговорах-спорах о книге Лурье с другом моим Е. Стародубским – за что выражаю ему признательность.

веди и учет, надо над ним арбайтать, а не так сидеть сиднем), тогда как Творец именно *сначала* – мог ведь людей не создавать, а заняться чем-нибудь другим, – взял и сотворил человека, вызвав его из праха *специально* для того, чтобы потом им и поиграться («заводная кукла»), да как еще на славу: наделив его сознанием, чтобы он вполне просек всю фишку, весь изверский прикол своего интересного положения между начальным и конечным прахом...

А теперь исходящее из первого главного – второй главный тезис-антитезис – из того же «Бинома Хайяма»: «Да, я всего лишь особь, организм, тварь, а мироздание величаво и прекрасно, и я в нем ничего не значу и знаю это, и только этим, с позволения сказать, знанием и отличаюсь от какой-нибудь сосны или там пальмы. У вас, наверное, какие-нибудь замечательные замыслы или цели. Мне догадываться о них не положено. Ни жалости, ни снисхождения тоже не ждать. Я – говорящая пылинка, которая очень скоро замолчит навсегда. Что ж, превосходно. Я не нужен – значит, ничего не должен... Меняю ваше мироздание на дозу этилового спирта, в данных исторических условиях – на тыквенную бутылку красной финиковой бормотухи. Потому что в мироздании нет свободы, а в бормотухе она есть. Ненастоящая? Конечно: тут все ненастоящее, реально только смерть (антитезис сплетается с тезисом в одну мебиусову петлю: см. выше – Ю. М.)... А я у меня один. И у вас другого меня не будет. И с моей точки зрения – с точки зрения пальмы или пылинки, зачем-то наделенной здравым смыслом, – все это жестоко и неумно. И обидно».

А потому: «...хорошо на это время пристроиться придурком в КВЧ (например – звездочетом к султану), – но достоин зависти, а также вправе считать себя живым, счастливым и свободным – только тот, кто выпил с утра.

Он и сам играл в такое жалкое блаженство, но больше для виду – назло Начальнику, если он есть.

А про себя строил всю жизнь уравнение судьбы, в котором человек – хоть и переменная величина, и притом бесконечно малая, но все-таки не равная нулю, – потому что если не на что надеяться, то нечего бояться».

Прошу прощения за длину цитаты, но она для понимания всего дальнейшего текста – фундаментально важна.

Только так: чем хуже – тем лучше. Мир весь во зле лежит, да не просто, а вверх тормашками – это вселенская зона без зачетов, амнистий, вообще любых освобождений, кроме смерти; на выходе лишь 10 лет вечного Ничто без права переписки; тюрьма да сума тут – карманная мелочь, о которой и говорить смешно; поэтому – от рождения-приговора до смерти-исполнения тут – триединое правило без исключений: не верь – не бойся – не проси.

Только не говорите, что вы этого не знали. Незнание закона не освобождает от ответственности. И не станем говорить, что об этом не писали, – об этом думали и писали все мало-мальски внимательные к жизни люди, от греко-римских стоиков и до наших дней. От Сенеки и Марка Аврелия через 66 сонет неизвестно кого под всем известным именем до достоевского Ипполита и Сизифа Камю. Добавим к этому Ивана Ильича, столкнувшегося на практике с тем, что он не продумал до конца на уроке теоретического построения несомненно верного силлогизма: все люди смертны – Кай человек – следовательно, он (всякий он, стало быть, все мы, стало быть – и я) смертен. Включим сюда и Козьму Пруткова: первый шаг младенца есть первый шаг к его смерти. Продумайте по звеньям – поймете то же самое про себя (вслух не обязательно). Пока не поздно... Впрочем, поздно всегда, поздно уже сразу после рождения, в котором мы не виноваты, – ну не могли же нерожденными успеть перекрыть родителям кислород и не родиться.

Не виноваты? Вы это серьезно? Ай-яй. Процесс-то уже идет. И у нас невиновных не казнят. А виновны все до одного.

Любимая, уже написан Кафка (и написан тем самым Верховным, который продиктовал тому ли оному да кафке записанные тем ли да кафкою стенографически кошмары).

Ужели нет выхода?

Нет есть, говорит Лурье. Причем он там же, где вход. Он есть вход-выход в смерть.

Тогда какая разница? – спросим мы. Нуль есть Нуль, и выхода нет.

Нет есть, отвечает Лурье. Все дело в том, *какими* мы выйдем в Абсолютный Нуль посмертной свободы.

Каждый из нас, пока он жив, есть потенциальная тварь дрожащая – или потенциальный герой самой настоящей трагедии. И если он потянет на эту роль = если пойдет до конца против Верховного Диктатора и *заявит* свою высшую человечность, – то все равно останется беззащитным

и умрет навсегда, но умрет *не равным нулю*. Вот только это малое, но великое, — *нам принадлежит*, и, если мы собственно люди, мы не должны дать это единственно наше — у нас отнять.

И об этом писали, но столь коротко-отточечно — и в то же время в стольких разнообразных вариациях... прочитайте эту книгу — поищите-отыщите в ней и свой поворот, свой коридорчик всечеловеческого движения от пролога к эпилогу.

И еще — на этих двух утверждениях-аксиомах: на тезисе тотальной беспощадности Творца (если Он есть, а нет — тогда просто *такого* вот мироустройства) — безысключительного и всеильного аннигилятора человека, и антитезисе безнадежного, но высоко-доблестного человеческого сопротивления ему — на двух столпах Лурье обосновывает историю европейской цивилизации. Он историк словесности *не в истории литературы, а в истории самой истории*. Литературы как едва ли не важнейшей основы становления человечества.

Я уже не говорю о Книге книг — Библии, книгах греческих философов и книге римского права — трех китах европейской цивилизации; на них она основана — но как и чем она становилась? А становилась она, по Лурье, — с началом *литературных вежливости и вежества*. В этом и смысл перечитывания в пятый раз «Смерти Артура» — «книжки нелепой, но с восхитительными разговорами».

«— ...Ибо для настоящего рыцаря это всегда первое дело — прийти на помощь другому рыцарю, которому грозит опасность. Ведь честный человек не может смотреть спокойно, как оскорбляют другого честного человека, от того же, кто бесчестен и труслив, не увидишь рыцарской учтивости и вежества, ибо трус не знает милосердия, а хороший человек всегда поступает с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с ним», — и добавка от С. Л.: «Вот зачем в романе "Смерть Артура" так прекрасно внятен, так внятно прекрасен диалог: чтобы поступки не затмевали побуждений».

Отменно сказано. Время нужно судить не только по реальным поступкам живших в данном времени, но и по — пусть и затмёнными поступками — побуждениям. По идеалам данного времени. Потому что идеалы, принятые как максима поведения, постепенно подтягивают к себе и норму поведения, значит, насколько-то переделывают и человека, и его время. Приводят одни поступки к *другим*: после того, что ты сегодня сам о себе сказал, тебе самому некрасиво покажется делать то, что ты спокойно делал еще вчера. А эти идеалы задает словесность. Текст. «Литература еще при жизни этого ужасного сословия пересочинила их, рыцарей, оглея соблазном самообмана». И еще: «Сэр Томас Мэлори... стоял за вежливость... еще, я думаю, и по той причине, что в природе нет ничего, похожего на вежливость; согласитесь: помимо привилегии на секс лицом к лицу — только дар деланой улыбки, только мимика доброй воли вроде как приподнимают человека над фортунной».

Да, деланая; да, литература обольстила и пересочинила этих знатных разбойников, она *навязала* им их же собственный имидж; да, самообман и искусственность; но — человеку же во благо. Только такая искусственность и есть ложь во спасение, только такой возвышающий до правды обман и оправдывает существование искусства. Миссия литературы — цивилизаторская. Она корректирует слова, смягчает выражения и с ними проникает в души, умягчая их учтивостью и милосердием (апеллирующим к понятному рыцарям — доблесть: если ты не милосерден — ты трус; странно, да? мы и не сопоставляем милосердие и трусость как оппозиционную пару — а они сопоставляли, вот молодцы, далеко же видели в своих болотах), входя через внешнее вовнутрь, чтобы пусть медленно, но верно вынырнуть затем опять наверх — в изменении *дел*, значит — и хода истории. А что, не так? Приведу пример: Наполеон повсюду таскал с собой «Вертера» и плакал над ним, повсюду же вспарывая людям животы картечью; но не без того он все же Наполеон, Герой Пушкина, Байрона и Стендаля, — не без того он не Чингисхан, что повсюду таскал с собою «Вертера»... Этот сентимент — не сантимент, а сантиметр цивилизации, ее будущего — увы, теперь уже бывшего — «прекрасного автоматизма», когда мужчина в конке, не задумываясь, приподнимает шляпу, уступая место даме (Ключевский).

А вот еще (ах, класс!): «"А ты почему спрашиваешь?" — сказал Балан... "Потому что хочу знать, — ответил карлик"». И — от Лурье: «Ответный ход карлика исчерпывающей простотой доставляет мне неизъяснимую отраду... остановиться, передавая подобные речи, не так-то легко: герои романа изъясняются между собой на каком-то идеальном языке, словами единственно возможными, — вероятно, таков синтаксис неразведенной правды (губительный, но, увы, веселящий огонь!), как будто французскую фабулу пересказывают под английской присягой». И еще:

«...происходящее перестало происходить, превратилось в произносимое; вот я и говорю, что сэр Томас умен придавать длительности разговора – объем, подобный музыкальному».

Вот и я не могу остановиться; цитируя нашего автора: не знаю, как кому, а мне лично он доставляет *неизъяснимую отраду* – от высверков русского языка, сводящего совершенство английского в кратчайшую формулу, равновеликую развернутому подлиннику.

А еще и потому, что я тоже – пусть, пусть и я карлик – *хочу знать*, потому и *спрашиваю* – и в этом срезе тоже европеец, который, ездай он в Америку, Азию или к себе в Россию, останется неисправимым головоломным человеком Старого Света, замешенного – знает ли, нет ли – на диспутах высокой схоластики 13 века, а там на Декарте и Канте, т. е. не презираемой, а почитаемой *культуре вопрошания*, а не тьме «третьего» непутевого пути туда, где чего ни спросишь – того и не спрашивай, нечего умничать; а в Новом Свете: не надо спрашивать, а посмотрите сами, как оно работает; а на Востоке: не спрашивай, а делай, как говорит аксакал в твоём ауле, и научай тому младшего... Правда, кроме Ближнего и Среднего Востока, есть еще и Дальний; но и там, кроме Лаоцзы, есть еще и Кунцзы, Конфуций, и он – поглавнее. Он очень большой аксакал в самом большом ауле.

Дальше все разветвляется, переплетаясь, по трем направлениям мысли Лурье, трем путям богатыря на развилке (будем надеяться, что теперь и там уже стоит нон-стоп-рюмочная, где можно с утра выпить, подобно лурьевскому Хайяму, – и целый день свободен – ото всего, кроме почесывания в затылке: не то что куда ехать, а – как бы это клонировать себя натрое, чтобы поехать единым сразу на все три путя).

1) Мир глобально и бесповоротно страшен.

2) Но можно перед лицом неминуемого конечного конца, ясно зря его – все равно стать бесстрашным героем, чтобы сохранить бессмертно-бесконечную искру.

3) А можно, не зря конца, а нохнув осязательно перед глазами лежащий прах земного мира и не додумывая умозрительно бесконечный конец, выстроить свою жизнь применительно к миру, интимно знакомому. Типа: «Но люблю мою бедную землю, оттого, что иной не видал» (а раз того не видал, а это любишь, то в этом всецело и надо жить – и давать, елико от тебя зависит, если ты не последняя сволочь, давать жить другим).

Последнее от высокого Манделъштама может привести, в свою очередь, к двум типам поведения.

Один приводит назад к низменному Дубельту (эссе-главка «Голубое сукно»). Которым Лурье, презирая, любит – и любит, презирая этого слугу царю-отца солдатам (даже когда те в солдаты и не стремились). И если в читателе сидит, как в нас, двуликий (но не двуличный) Янус диалектики, скажем так, переживания текста – то ему это в страшный кайф и обалденный драйв. Артистизм, это уж кому он дан... это такая штука, что в ней легко пропасть, артистизм в этом смысле есть нечто безусловное, и к этому безусловному – при условии, что Лурье – он и есть Лурье, – безусловно относится и сам Самуил Лурье, безотносительно к тому, как он сам отнесется к себе.

Несколько иная вариация – поведение Гулливера что в стране лилипутов, что у великанов, что у гуингмов (см. «Гулливер и ласточка»), которое Лурье определяет однословно: раболепие. И убедительно это показывает.

А может породить тип поведения достойного. Таков Робинзон Крузо. Раз уж ему выпала такая, а не иная участь, он и в такой не слишком радостной ситуации, в необитаемой зоне, мы бы сказали, живет «мужиком» («Предмет зависти всех людей»), а не шестеркой у пахана или звездочетом у шаха, или Дубельтом при Николае. Нет, он обустроивает собственный земной мирок – и живет в нем по собственным, приватным ЦУ.

С кем-кем – с Лурье не поспоришь. Он прижмет тебя наблюденным текстом так, что ты либо распрощаешься с одним из двух любимых героев детства, либо вынужден будешь признать, что потому нежно относишься к Лемюэлю Гулливеру, что сам в душе – а ты не замечал раньше? – раболеповат. Нехорошее слово? Ну, скажем, немного слишком пластичен. Не рабо-, а просто лепок. Лепок, потому и слегка Видок. Фиг-лярин.

А в прочем автор – живой человек. По-человечески он любит Дон Кихота («Д. и Т. своею кровью»), потому что сам – Дон Кихот, прочитавший «Дон Кихота» (не как борхесов Пьер Менар, его в точности, до буквы, переписавший и тем-то сочинивший наново; Лурье тоже сочиняет его – но немного подгоняя коня, щит и меч Мамбринна на свою мерку – святое право читателя-не-

доцента). А по-другому по-человечески он любит Некрасова – по завету последнего проповедавая любовь враждебным словом отрицания («Имена музы»). И тех, кто не чувствует этой боли отрицающей-но-прощающей любви, звать понимать Лурье – бесполезно. Как и вообще – *понимать*.

Но бывают и совсем неоднозначные случаи. Вот эти-то сложные, двоящиеся вариации человеческого поведения перед лицом – см. выше – и есть самое интересное в не научном-не популярном, но художественном бихевиоризме Лурье.

Едва ли не лучшая из лучших эссе-главка «Ирония и судьба» (о «Капитанской дочке»), в частности (а там полно этих самых частностей, одна интереснее другой, но мы будем говорить только об одной), – о разделении Гринева-Швабрина, первоначально, по Лурье, задуманных как единый персонаж, надвое. По типу поведения человека, изначально не лишённого благородства, перед лицом того, кто безусловно сильнее его и от которого зависит его жизнь и смерть. То есть в данном случае, понятно, от Пугачева.

Тут Лурье тончайше-стадиально (ах, какой из него вышел бы адвокат-прокурор!) прослеживает, к примеру, развитие разговора-допроса Гринева с Пугачевым: признает ли первый последнего государем или считает его за самозванца? Это надо читать! Вывод же: «Милость сильнее судьбы, а добывается она простодушным лукавством. Гринев навязывает Пугачеву, а Марья Ивановна – императрице необходимость проявить великодушие. При этом и Петр Андреевич, и его невеста выказывают недюжинный ум». От себя добавим: это небывалая дипломатия, в отличие от обычной, дипломатия человека умного не умом, а сердцем, естественном, опирающимся на сохранение чести и чистоту совести. Это поведение не героическое, но достойное человека, вознаграждаемого за усилие самосохранения совести – почти недоступной вроде бы простецу Гриневу бессознательно-хитроумной диалектикой житейского поведения. Хитрец же Швабрин именно в *сознательном* хитроумии проигрывает свою ставку-жизнь. Проигрывает *на своем поле*.

Лурье предполагает, что и того, и другого Пушкин наделяет частью своего облика, «одалживает Гриневу свой голос, а Швабрину дарит свою наружность». Пойдем по предложенному пути дальше и предположим, что автор вообще наделяет героев частями своего внутреннего облика. Человека, иногда поступавшего по чести и совести, иногда же – нечестно, но сохранявшего живую и болящую совесть, иногда же – бессовестно-нечестно, а то и бессовестно, но вполне честно. То есть цинично. А теперь пригляди́мся к себе: не так ли двоюсь-троюсь и я-грешный; а если еще взглядеться – когда и как именно я поступаю так или эдак? Ну хорошо, Пушкин у Лурье разделяет все это надвое, – и тогда все расходится по полюсам, да? ан нет, это двойное еще раз двится минимум на четверо, и так далее – или нет? Ну, собственно, и все эти вопросы, так? И к кому они, верно? К Лурье, или к Пушкину (с Пушкина получим, надеюсь?), или к самому себе – ты-то кто, а? Я, например, и пято-шестое в себе замечал, а все говорю, что я есть я, «какая есть», так сказать, и «желаю вам другую». А какая, какой я – на самом-то деле *есть*? Какова моя, сказал бы Юнг, не «персона», а «самость»? а прп. Максим Исповедник (6-й век – 21-й век) присовокупил бы еще: нет, какова моя не ложная, хоть и глубинная, «самость», а – на глубине глубин – мой «внутренний человек»?..

Жутко интересно. Жаль, нет времени задержаться. Но будем помнить, что нет более увлекательного занятия. Да и пользы нет. О чем Лурье самым доходчивым способом понимать – напоминает, втягивая нас едва ли не в психоаналитическую авантюру. В то, что Дали именовал своим параноидально- (м. б., все-таки – шизофрено-?) критическим методом самопознания – через сюр-живопись. Но Дали был великий мистификатор. Вот уж чего в Лурье нет как нет.

Параллельно с этим 3-м – линией исследования поведения *типовых* человек перед лицом Самого – развивается и первое (мир есть зло, не в котором *ныне* лежит, а *изначально* зловредно сочиненно-созданный), рифмуясь по всему тексту, но особенно классно – хотя бы в плане атрибутики топо- и хроно-графии – в «Ужасной поре», где полностью восстановлена чуть ли не по минутам (это сколько же документальных свидетельств очевидцев надо было перелопатить! Кто настолько – не по-русски, но очень по-русски, так Достоевский без конца читал уголовную хронику в газетах – не ленив и любопытен? Понятно, кто.) картина великого петербургского наводнения 7 ноября 1824 года (т. е. того, о котором – «Медный всадник») – и сличена с пушкинским текстом. И один из капитальных выводов: «И насчет Бога никак не споешь диаконским басом: благ и человеколюбец – иначе как в шутку. Читайте Вольтера – "Поэму о Лиссабонском землетрясении" (которое, между прочим, поглотило 30 000 человек в 1775 году...). Не стоит, значит, грозить ни воображаемому шведу, ни металлической кукле – и ссориться с мертвыми, и строить

города *назло*. И вообще сходить с ума. Все и так слишком грустно, слишком таинственно, слишком красиво. Счастья, разумеется, жаль».

Бог – снова и снова – не благ, думать так – это анекдот, о чем мы получаем достоверное подтверждение хайямова бинума на сей раз от Вольтера («дьявола во плоти» – значит, главного «спеца по Богу» – и Его церкви: «Раздавите гадину»? это мой вопрос к Лурье).

Но мало того, хуже того: что наверху, то и внизу; микрокосм таков, как макрокосм. Наверху космическое всеильное Зло – внизу земной злой автократор: шах или русские самодержцы. И от них пощады не жди, а только вольно-невольной (они обречены на нее) издевки – будь ты совсем несчастный Полежаев или хронически несчастливый Фет, не поспевающий, хоть только и стремящийся поспеть, стать потомственным дворянином и законно присвоить фамилию неродного отца, и все для этого делающий, – но самый быстрый Ахиллес никогда не догонит медленную ползущую, но неверно скачущую вдруг черепаху российской Табели о рангах, где Петр дал один устав (вроде как на века), а Николай I его взял да в 1845 в одном пункте (но для тебя-то и – Фет ты этакий – губительном) и поменял, а только ты и сюда добежал из последних сил, как Александр II в 1856 его еще раз – и именно в важнейшем для тебя (эх, Фет ты мой Фетоевич) месте – переиначил, и т. п. Заранее проигранные бега вперегонки с медлительным танком самовластья. И тогда человек идет в обход, «...всего-то и пришлось – жениться без любви на некрасивой, невеселой, тоже равнодушной – и превратиться в помещика, и разбогатеть, научившись премудростям сельского хозяйства, да скупить понемногу родовые земли, пережив братьев и сестер», – и только окольным путем к концу жизни выигрывает заветный приз – и его хоронят-таки потомственным дворянином, стяжавшим родовую фамилию Шеншин. А толку-то? Просиял огонь в ночи – и, уходя, заплакал. И только-то. Пусть себе поплачет – мало ли что значит.

Фет же ты мой опавший.

Это первая и третья дороги мысли.

А вот вторая... Она-то и самая трудная... *Как стать не равным нулю? Как заявить свою человечность?* А вот как кавалер де Грие («Смерть в долине Миссисипи» – про «Манон Леско»), грозящий «в случае если несправедливость восторжествует, явить Америке самое кровавое и ужасающее зрелище, которое когда-либо творила любовь» (вот интересно, что подумал бы де Грие, окажись он в Нью-Йорке 11 сентября? Какою лавой откликнулась, сама того не зная, страстная любовь литературного героя, отлившаяся в нелитературную ненависть). То есть, словами Сведенборга (главка-эссе «Какова загробная жизнь»), которые в конце эссе рефери-Лурье рефренирует уже от себя: *человек есть олицетворение своей любви*. И тогда человек все равно смертен (пусть Сведенборг – прямо обратного откровения), но этот его ипостасный срез – «совершенно бессмертен» (это, как всякий знает, уже не из Лурье, но и Лурье «того же мнения»).

Человек есть олицетворение своей любви, и безумие Дон Кихота, безусловно вначале когда-то где-то осведомленного (как избрать себе даму сердца, вообще не слыхав про нее ничего?), что «ламанчская императрица Дульсиянея Тобосская» есть деревенская двка Альдонса Лоренсо-Дуныша из местечка Тобосо, но начертавшего-таки не А. и Л., а «Д. и Т. свою кровью» (таков заголовочек эссе-главки, перефразирующей известно что и чье) – есть безумие, равное высочайшей ноте чистого (не в кантовском, а в буквальном смысле чистоты-святости) разума. И пусть себе он воюет с ветряными мельницами и так далее по тексту величайшего из романов. Безумие-то и есть норма Человека в безумном мире (а кто не псих? а вы не псих? тогда плохо дело) тотального уничтожения; потому этот лядящий доходяга и едет, приставая к умным людям с полудурочным рыцарством, накрывшись медным тазом, с детским дреколем на дохлой кобыле по всей Ламанче и сопредельной Кастилии – на ясный огонь воспламененного протеста человека против того, что он помрет насовсем как волк или сохнет вовсе как собака. Уж кто как хочет, а он создаст себе богиню, чтобы помереть за нее как человек, уйти в Нуль не равным нулю, отстаивая частицу вечного Бытия против издевательского Ничто.

Хуже дело с поэтом Блоком. Широко человек – я бы сузил. Но так рассуждает Иван Карамазов, себя, впрочем, не собиравшийся «сужать», – и дошедший не до высокого безумия, а – клинического умопомрачения. Вот и Лурье не собирается «сужать» Блока. Не боимся слова, гениального эссе-главка «Самоучитель трагической игры», по существу, рассказывает (нет, рассказывать – дело долгое, перед нами же – краткое вы-разительнейшее изо-бражение) странную трагедию человека, бывшего едва ли не от рождения «не просто поэтом, но единственным в мире обладателем самой важной в мире тайны», – и вот вдруг утратившего ее, а с ней – все.

Да, так. Но что за тайной он обладал? Ее имя? Блок называл ее по-разному, Прекрасной Дамой-Незнакомкой-Кармен-Россией-сестрой-женой... Лурье нашел точное имя. Как просто – а мне не давалось никогда; а я искал. Я все искал, а Лурье нашел.

Простое имя блоковской (и всех духовидцев) тайны: Ты.

Вполне вероятно, наш автор нашел это имя в одной из главных книг 20-го столетия, философско-поэтическом произведении Мартина Бубера «Я и Ты». Но одно дело – вдаваться в то, о чем поэтрит Бубер, а другое – применить его настолько удачно.

И мы, во всяком случае, будем исходить из буберовского понимания, как мы его понимаем применительно к Лурье и Блоку.

Ты есть то, без чего *Я* недостаточно *Я*. Ты и есть актуализованная потенция *Я*, то, без чего нет человеческой полноты. Эта полнота, это *полное сознание* *Я* только и раскрывается в диалоге с Ты, в прозрачности одного для другого, в их любви. Мало быть индивидуальностью, чтобы быть личностью; напротив, и индивидуальностью подлинной можно быть только отказавшись от нее – для слияния с Ты. Ты – может быть внятным тебе голосом природы, или любимого человека, или Бога. Это есть, согласно Аверинцеву (о лицах Св. Троицы), «самостояние в открытости».

И это знание «Ты», всегда открытого навстречу тебе, если ты открыт навстречу ему, но и всегда сокровенно-таинственного, всегда равного тебе, но высшего тебя (ведь когда любишь, то и служишь тому, кого любишь, как муравей богине), – это знание Блок до поры до времени нес в себе и обозначал разными словами; вот Прекрасная Дама – кто она? М. б., Люба Менделеева, а м. б., и Дева Мария... «Ты в поля отошла без возврата. Да святится имя Твое», – кто эта «Ты»? Вот отсылка-рифма к «раньше» главе о Дон Кихоте, там читаем: «Русский поэт пошел дальше – сам того не зная, приблизился к Дон Кихоту почти вплотную: в своей Прекрасной Даме... опознал Душу Мира и понял свою влюбленность как мистический контакт. По-нашему сказать – как откровение. Получилась... трагическая лирика, описывающая сближение и разлад с профессорской дочкой разными богослужебными словами»; это о: «Да святится имя Твое»; но ведь слова сии – вопреки С. Л. – вовсе не чисто *богослужебные* слова. Это до всяких служб и церковных разделений, в т. ч. на различные богослужения, это – сердце вообще всякого мало-мальского христианства, это обращение к Богу из главной молитвы «Отче наш», заповеданной самим Христом, и для христианина слова блоковы в применении к какой угодно из прекрасных дам – кощунство; но Блоку прощали и прощают иные и строго конфессиональные люди, памятуя, что, по Христовым же словам, «хула на Сына простится, а хула на Духа не простится», и чувствуя, что духа-то Блок «не угашает» и слова его – всегда о «горнем».

(Так владыка Иоанн Сан-Францисский /Шаховской/ и даже строгий ревнитель конфессии о. диакон А. Кураев, а то и его, некоторым образом, оппозиционер о. Георгий Кочетков, нежно любя «Мастера и Маргариту», по любви амнистируют или просто заминают для ясности, что роман, в общем-то, от эпиграфа и до конца, есть апология не Мастера с Маргаритой, но Сатаны-Воланда; а вот бесстрашный искатель правды Лурье, любя роман, как и все мы, всё равно называет правду по имени – читай главу «Механика гибели» о том, кому симпатизирует, с кем соглашается Сатана за пределами литературы в современной М. А. Б. действительности, – и справедливо выведено под конец: «Вот что бывает, когда автор оказывается во власти персонажей».)

И Блок это нес в себе до поры до времени – а казалось, раз навсегда, – он к этому высокому, пусть смутному (но и всякое горнее не для одного Розанова есть «неясное и нерешенное»), времен 1-го тома, «Ты» – был просто *подключен*, как... слушатель, врубивший «короткую волну», – к «задумчивому голосу Монтана».

Казалось, раз навсегда... И вот – что-то случилось (что? – Л. оставляет тут пустотный центр-воронку, чтобы ему и нам подумать не спеша; я вот всё вращаюсь вокруг – и пока не готов ответить, хотя, в общем, и... нет, в другой раз), и Блок стал «мертвецом среди живых». А Дух на то и Дух, Ты на то и Ты, чтобы животворить. И вдруг кто-то, какой-то «карлик маленький» – умерщвляет. И вот живой мертвец идет к ожившей мертвячке Клеопатре, и они – как живой с живою говорят (это стихотворение – взорвавшееся из пустотного центра черного солнца муарового изделя Лурье, крика боли и любви, негодующей на любимого: как ты мог, ты, Блок, не просто поэт, а – писавший как никто, потому что знал самое Ты, быть и таким: «Я опять на прежнем – самом "уютном" месте в мире – ибо ем третью дюжину устриц и пью третью полбутылку Шабли» – или: «Моя система – превращения плоских профессионалок на три часа в женщин страстных

и нежных – опять торжествует», – но это бы ладно, амбивалентный ты мой, глотай третью дюжину – хотя, как все помнят, даже Стива Облонский заказал на двоих, себя и Левина, и то подумав, не взять ли одну, только две дюжины устриц, – ешь, пей и «превращай» (т. е. развращай, дури еще и систематической страстью и нежностью честных плоских профи), но – узреть свое Ты в кровавом поносе «музыки революции»?!).

И тогда высокое безумие человека среди толпы, личности среди хайдеггеровского «man» (посыл назад, рифма-возвращение к «Д. и Т.» в начале книжки), высокое безумие Дон Кихота – оборачивается «высокой» гибелью, самосозидание человека – его саморазрушением, радостью по поводу затонувшего «Титаника» и Христом впереди двенадцати бандитов-красногвардейцев («на спину б надо бубновый туз»), и «Нисколько не удивлюсь, если... народ, умный, спокойный... начнет так же спокойно и величаво вешать и грабить интеллигентов (для водворения порядка, для того, чтобы очистить от мусора мозг страны)... Хочешь гибнуть – ну гини, на то ты Поэт, есть, есть упоение на краю бездны, но еще и других за собой тянуть, приветствуя...

И вот в последнем, 29-м эссе-главке «Краткая история оксюморона "Приглашение на казнь"» о том, как шекспирова «Мера за меру», которая сама есть отклик на ауканье посредственных, но – предшественников, а привела – через дальнейший отклик посредственных перелогателей – к пушкинскому «Анджело» и в конце концов к появлению названия «ПНК» (кто еще прочтет-отматает, отсмотрит, как телеграфную ленту, всю эту вперед-назад цепочку-эстафету – кто спервоначала узрит ее, да еще потом целиком отследит? кому не лень? ау, ребята!), читаем о том, что не умрет в назначенный ему час только – человек, просто проспавший час своей смерти.

Это кольцевая рифма к самому первому: «Бином Хайяма». Свободен от страха перед ней, проклятой, – только принявший отважно – при сухом законе – финиковой с утра; избежит ее – сейчас, только сейчас, но все-таки это куда больше, чем нуль, ведь в жизни-то нам главное не умереть сейчас, а там увидим, – лишь бесстрашно проспавший ее под утро.

Остановка. Выйдем. Охолонув от увлечения и подумав, можем кое-что сказать не только про Лурье, но и contra. Ну, то есть высказать некоторые наши недоумения. И именно не от нашего неуважения к Лурье, а от восхищения им, которое было бы без его ответов не совсем полным.

Например. Мы что-то слышали насчет того, что Хайям был где-то – суфий. Мусульманский мистик; и «вино» было для него не выпивкой, а символом духовного восхождения к высшему – и вовсе не злomu, а всеблагому Господу (потому, м. б., как раз и *понятно*, «как и почему жил довольно долго и умер своей смертью»). Или: Пушкин года за полтора-два до «Анчара» написал «Пророка» – переложение строк пророка Исаяи, где человек – не заводная игрушка, а тот, кто вложенным в его уста свитком-Божьим огнем-глаголом жжет сердца других людей, чтобы и они стали как Божье чадо-пророк-поэт-вечный Человек. То есть А. С. П. за полтора года изменил свое миро- и человекопонимание аж на 180 градусов (или он так двоятся-протейтся; последнее вообще-то правдоподобно – тогда вопрос снимается с повестки дня)? Или вот: говоря «николаевский террор», при опыте-то русского 20-го в., можно и оговориться, хотя бы в сторону, что николаевский террор и ленинско-сталинский, авторитарный и тоталитарный режимы, – немного разные вещи не только в отношении частной собственности, что Николай даже согласно ненавидевшему его Герцену был все же в некотором смысле европеец на троне, а не самозванный людоед, – он, как он это государево дело, будучи так с грудного детства воспитан, понимал в духе вполне традиционной, не самозванной самодержавной идеи, был, по крайней мере *думал быть*, как и его Личарда-Дубельт, верным слугой царю (Богу) – отцом солдатам (населению); потому что понадобилось долгое время, чтобы логику формальную дополнить логика диалектическая, *сопрягающая*, чтобы люди вообще, а не только в России, начали думать – и то не все – в относительно недавние времена: вполне нормально, чтобы Небесная вертикаль совмещалась с земной горизонталью (демократия), а до того они так и думали вполне последовательно (т. е. «по своему почерку были правы» – Максим Максимыч), что микрокосм должен повторять порядок макрокосма (вообще, хоть немного поняв Петра, заведшего, м. б., в силу полубессознательного внутреннего бунта против этой слишком симметричной оси, «всепьянейшие и всешутейшие» *соборы*, допустив на минуточку, что и Екатерина была не только трам-там, но и великой императрицей, ужель на самую тютючку не пойдем и Николая? нет? ну ладно, я при нем не жил и оправдывать его не мое дело, при нем я в лучшем случае был бы кантонистом). Так полагал и Дубельт – и жил, вероятно, где-то даже и искренно, и потому не сделал на своем посту гораздо худшего – не брал десять раз на дню людей по спискам (а мог бы – оставшихся людей и тогда хватало

бы, чтобы Россия была как-то заселена для правления ею; мог бы – да как раз традиция самодержавия не дозволяла, она такого бы вообще не поняла – у нее были свои «можно» и «нельзя», ей было не «все дозволено», а дзержинским под кураторством ленинских – все), не расстреливал несчастных пачками по темницам. И Жуковский не был всего лишь «трусливым другом», а был, не говоря о его прочих заслугах, – при беззаветном своем монархизме – большей частью верным и честным другом своим друзьям, и заступался за ссыльных декабристов, да вроде как помог и Шевченко, да много кому, а когда Николай спросил его: «А чего стоит твое честное слово (поруча за очередного друга)?» – кроткий В. А. Ж. молча повернулся к государю спиной и вышел из Зимнего. Взгляд Николая не то что в лицо, а и в спину, – не всякий мог вынести. А он – нетрусливо – вынес (или все это агиографическое сочинительство очередного псевдобιοграфа, попавшее мне когда-то, а Василий Андреевич никогда такого не совершал и не мог совершить? Такие вещи С. Л. наверняка знает – и мне, честно, мне в приватном порядке хотелось бы, чтобы он мне рассказал, как дело было). И что Лиссабонское землетрясение – не убедительный аргумент против благодати Бога: да, 30000 смертей – это ужасно, но не ужасней, чем смерть и всякого из нас (что в итоге уже составило – а сколько еще составит – миллиарды): одна-единственная смерть одного отдельного человека не меньше всех скопом смертей, потому как множь единицу или 30000 на Нуль – все тот же, *semper*, так сказать, *idem* выйдет нуль; тогда как спасение и вечной жизни одного или миллионов множится совсем не на нуль – оттого верующий еврей и после гибели 6 000 000 евреев не усомнился в Боге, а только подумал о грехе и жертве-искуплении, или вот католическое «богословие после Освенцима» усомнилось тоже не в Боге, а в своей позиции по отношению к евреям – и в некоторых своих, прежде казавшихся прочными, позициях вообще. И что нового в вольтеровских «сведениях о Боге», если Он сам за тысяча семьсот с чем-то лет до Вольтера сказал: «...думаете ли вы, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все так же погибнете» (Лк. 13:4,5). Так что или не верь с самого начала – или, если веришь, Лиссабонское землетрясение тебе скажет то же, что и говорил Господь задолго до. Оно, землетрясение это, верующему указ, но не разувериться, а заглянуть внутрь себя, сокрушиться не чревом, а сердцем и «сотворить плоды, достойные покаяния», – а уж неверующему оно говорит только: да, были, есть и еще будут на свете стихийные бедствия, Бога и так нет, а есть природа, стихийный хаос, и что нового вы этим хотите сказать? Все давно уже сказано – и только напомяно в Лиссабоне или Треблинке. Это не значит, что верующий – баран бесчувственный, он заплачет над Бабьим Яром, как Сам Христос заплакал при известии о смерти Лазаря. Иначе христианин не христианин, потому что вообще не человек, а дебил, и «христианству» его грош цена, – но в слезах его будет и нечто иное... он ни по какой земной причине не откажется от своего самого главного Ты. Без которого он – не он. Потому что верит не в благо смертной жизни, а в счастье Жизни вечной, в которую не перейдешь иначе как путем зерна, умирающего, чтобы воскреснуть.

Или вот: если точно подметить, что Пушкин «помогает своим персонажам», любя их и заботясь о них, перестраивая обычную земную историю = истории неудач, в виртуальную сказку удач, – то как же тогда быть столь уверенным в том, что Творец самого Пушкина и всех остальных непременно **не** любит созданных им не виртуальных героев и вовсе никогда не помогает им, а только издевается над ними? Можно предположить, что творческий разум Создателя Вселенной неисследимо глубже, нежели даже и разум Пушкина, и Он по-своему и любит своих героев, и заботится, и помогает им, но исподволь, не перекраивая им же созданную серьезную действительность в сказочно-виртуальную, а терпеливо давая нам самим набить себе шишки и дойти до свободно пройденного земного конца, чтобы мы и сами на себя поглядели, и себя показали, а там уже... Ведь у Него – и у нас – что, если и у нас? – в запасе *вечность*? Если на дело вот таким, например, способом поглядеть?.. Вот и Лурье удивительно верно подмечает: «"Капитанская дочка", сколько ни перечитывай, остается произведением таинственным. Невозможно узнать намерения автора, понять его взгляд на происходящее, услышать его голос». На Пушкина мы «не дерзнем». А как тогда дерзнуть дефиницировать как однозначно зло-тоталитарный – голос и бездонную тайну Автора самого Пушкина, по отношению к Которому все мы, даже Пушкин и Шекспир (последний сам это признавал, сказав, что все без исключения люди в мире-театре – актеры = *персонажи*) – в лучшем случае Гриневы – и еще хорошо, что не Швабрины?.. Тем более что и у Творца, как и у сотворенного Им маленького = земного гения-творца Пушкина, «мно-

го потайных ходов», их, скорее всего, еще и необозримо больше, если учесть, что хозяйство Вселенной несколько больше хозяйства даже и «Капитанской дочки»...

В общем, вот всякого такого немного можно сказать.

Но нет, мы передумали.

Кому-кому, а Самуилу Лурье мы вопросов этих не зададим.

Можно, но совершенно незачем: он обо всем этом осведомлен не хуже нас. Он и К. С. Льюиса приводит (а ведь последний как-никак главный христианский апологет 20-го столетия), и ап. Павла. Он их внимательно читал: он просто не умеет читать невнимательно. И если он все же им не внемлет, если «все же подзревает, что Вселенная – система тоталитарная», если он считает Николая I и Дубельта законченными негодьями, а Жуковского человеком трусливым и раболепным, то не потому, что он о чем-то не осведомлен или не продумал чего-то, а потому, что, будучи куда осведомленнее нас, – он, продумав, – сделал выбор. Его право.

Потому что если человек одним (типа Некрасова) прощает понимающе кое-что, и не то чтобы неблагородное, но какое-то сомнительно-пафосное, а другим – одну извилину, и ту прямую (навроде, ИМХО, Чернышевского) за благородство, а третьим не прощает ничего – это не значит, что он недостойн сам себя. Это значит только, что как живой человек он кого-то любит, а кого-то нет (всех любить – это трудная задача и для тех, кому Бог велел, для тех, кто не только верит в Него, но и верит Ему, потому что для них Он благ; а для Лурье, мы знаем, Он совсем не благ, и у Лурье свои серьезные резоны). Не по хорошу мил, а по милу хорош.

Он настоящий интеллигент, т. е. интеллектуал, – и, как последнему и подобает, не терпит общих мест. Всяческую «кабалу святош». Он тем и отличается от них, что у них способ понимать – верен он или нет – «один на всех», а у него – один на одного.

Снова – его право.

А еще ближе: рыцарь сам выбирает, с кем пировать, кому в беде помочь, а с кем сражаться насмерть. Кого понимать, а кого сознательно *не хотеть* понимать. Особенно если он убежден, что Некрасов какой ни на есть, а все же рыцарь Музы женщины-крестьянки под кнутом, а Николай никакой не рыцарь, а кат. Человек сам выбирает, с каким разбираться, учитывая сложность человеческого устройства, а с каким – безо всяких допусков (но при посадках) разобраться попростому, чтобы другим неповадно было. Чтобы «не было больше рабов».

То и главное в Лурье, что он рыцарь. Рыцарь *скорбного неверия*.

Он не агностик, а *такой* современный г н о с т и к. Только «усеченный»: отсекающий все многочисленные ступени-эманации-зоны божественной полноты-плеромы, все контroversы Верховного Ума-Нуса, истины-Алетейи, «падшей Софии» и пр. – всё, о чем можно судить по дошедшему до нас от паракристан-гностиков 2 в. Валентина, Василида, Маркиона и др., – отсекающий всю эту мутноватую иерархическую структуру нисхождения-восхождения – зачем? до них, досужих, если они (кто их знает?) и есть, все равно не достучаться, – а зорко видящий *явленную нам здесь* ступень низшего, больного Демидурга, сотворившего по своей мерке этот больной, вывихнутый мир. Это не атеизм: творец есть. Но если он больной на голову, то мы, и зная его, не можем ему доверять, его любить. Стало быть, и верить в него – потому что он не с большой, а с маленькой, падшей буквы.

На пересечении гностицизма и последовательного монотеизма: Творец (по всему тексту С. Л.) все же един, и мы восстанавливаем заглавную букву, но Он – плох или очень плох.

Хоть иногда и сам С. Л. взмывает, случается, в Небо не злое, а благое – как в «Черном цветке» о Лермонтове: «Но лично я не допускаю, что Автор мироздания злопамятен и щекотлив – и не понимает стихов, и не догадывается, какой тяжестью ложится на юное сердце вся эта красота...». То есть как это не допускаешь? Не только допускаешь, а однозначно – и многожды – приговорил Автора Вселенной к тому, что Он только забавляется лермонтовыми и прочими заводными игрушками, вызывая их на минуту из праха, чтобы затем злорадно послать в окончательный прах со всеми их стихами, пароходами и другими недолгими делами!..

Как так? А так вот. Лурье не равен Лурье. Бывают и перфорации души (прорывы в истину – или только в прельстительную кажимость?). И это голос Лурье против голоса Лурье. И кому поверит суд.

И все же подозреваю, что так, как в «Черном цветке», он – иногда (как и сам подпоручик иногда в небесах видел Бога, но всё равно хотел забыться и заснуть). А так, как о Хайяме и ужасной ночи наводнения, – постоянно. Хронически.

И еще подозреваю, что с Богом у Лурье вообще не решено. Что, говоря постоянно о Нем как о реальности, при том, что он, С. Л., по его же словам, не «впадает в научный атеизм», автор порой только *допускает* Его существование, а так чтобы близко к сердцу, ко всему существу – не принимает; потому и позволяет себе шутки «с боженькой», потому может заметить: «По учению христианской церкви, как известно, такая встреча (с теми, "с кем невыносимо разлучиться" – С. Л., Ю. М.) может состояться лишь в конце времен, после глобальной катастрофы – да еще найдем ли, узнаем ли друг друга в многомиллиардной толпе»? Но ему не может не быть известно, что, *как известно*, Церковь учит несколько о другом: о том, что в конце времен будет лишь окончательный Суд над всеми нами и каждым из нас; а «предварительный» суд над каждым будет сразу по смерти и воскресении каждого, а уж как только в мир иной наш близкий за нами последует – и ему то же самое, и там мы как-нибудь уж узнаем друг друга, для нас не будет многомиллиардной толпы, Господь уж как-нибудь «искривит пространство» – если Он здесь управляет галактиками, то и в ином, неземном времени-пространстве, особом пространстве вечности, он как-нибудь расселит людей, чтоб им не тесно было и они своих узнали и – пусть не земным, не плотским образом – были бы с ними: «В доме Отца моего обителей много». Почему достовернейший в остальных случаях С. Л. только в этом, судя по всему, небезынтересном для него, – позволяет себе быть не совсем достоверным? Не знаю. Может быть, потому, что живая душа болит, а Господь, может, и есть, да что-то долго не дает Себя знать, – ну, мы, дабы заглушить боль, и поиронизируем пока... Это тоже голос Л. против голоса Л. И тоже хроника.

Или нет, не так. А вот как: «Лурье» и «тоже Лурье», и «еще один Лурье» – такие же персонажи самого Лурье, как сэр Томас Мэлори и его карлик, Пушкин-Гринев-Швабрин, Башмачкин и Дубельт. Более того, «Л.», «другой Л.» и «еще такой вот Л.» – это *главные* персонажи самого Л. Это персонажи над остальными персонажами, а то и, если так попробовать сказать, внутреннее «я, Лурье» остальных персонажей. Все эти «Лурье» и есть на самом-то деле лирико-философские герои поэзопрозы Лурье. Судимой по законам художественности, где в строгом смысле слова нет «истины» и «ереси» в прямом их понимании. Так что это не Л., а я сам себе противоречу: как-то увлекся спором с автором напрямую – и тем самым перечеркнул то, о чем сам же говорил где-то вначале: перед нами не просто блестящие эссе, а *совсем художественное* произведение. Я говорю не о том, что эссеистика «хуже» или там «ниже», но только о том, что с ней можно спорить напрямую, соглашаться или отрицать. А с персонажами *напрямую* – типа: Онегин-лишний или не лишний человек? – спорить бесполезно. Так вообще нельзя. Т. е. можно, конечно, так и делалось, но только это все глупости. Онегин – это «Онегин», он вообще не человек, он образ человека, он – фигурка, ежик, ведущий читателя сквозь туман в даль свободного романа.

Это многие «Лурье» то спорят, то соглашаются, то ныряют в глубину, то взмывают вверх, а то остаются на поверхности. То предельно серьезны, а то позволяют себе порезвиться и поиграть. А за ними стоит сам автор, то соединяясь с ними до полного слияния-сочувствия, а то невозмутимо наблюдая за ними – словно поддразнивая читателя: ну поспорь с мной! только сначала уясни, с кем *на самом деле* споришь, а для того поспорь прежде – с собой.

Вся эта хроника несогласия-согласия в споре «Лурье»-персонажей самого Лурье (внутри которой суд-ряд с Богом и собой) совершенно замечательна. Тем, что совершенство слова воплощает нашу общую, коммунально-изолированную боль из-за несовершенства = несовершенство души. Пока мы еще не умерли, душа все никак не совершит себя до конца – и все сама с собою говорит. Пока есть еще время...

«Скорбное неверие современного гностицизма» – не наши слова, а это из первой главы работы С. Л. Франка «Свет во тьме», и каждый, кто прочтёт одну только третью подглавку этой главы, удобнейшим для себя образом обнаружит, что все сказанное нами – по существу иллюстрированный пересказ франковского-на-все времена.

Среди них и наше время. И в нашем времени автор многих «Лурье» как *лирическо-философских героев* автора Лурье, всеми их голосами выразивший *неверующую веру* много-многих еще, надеемся, оставшихся последних из могокан, которым *не все все равно*, которые *так* вопрошают, *так de profundis*, из глубины и последних сил провоцируют Небеса, – а! Господи, если Ты есть – отзовись хоть на что-то! хоть когда-то! А не отзовешься – то и нет Тебя, или Ты совсем плохой, и тогда чего Тебе верить-Тебя бояться-Тебя просить?! («...что за любовь, которой не нужно совсем ничего, – блаженствующая в безличности – подобная поздравительной открытке

без подписи, как бы от неизвестного?» – в главке «Д. и Т.», герой, отрицающий не Бога (как во времена самого Франка), но благодать Бога (параллель: «Попадись мне, кто все так придумал, я бы сам его здесь придумал» – Борис Гребенщиков), не верящий ни в какие теодицеи, но все равно возвращающийся, как на место преступления (Его или твоего?), к тому месту, которое пусто не бывает, так или иначе, но вращающийся беспрестанно вокруг опустевшего, но не пустого Престола, потому что Бог умер, но Его бессмертная искра есть, вот она! но тогда откуда же она, почему она бессмертна, если породивший ее огонь мертв? почему она так хороша, когда сотворивший породившего ее плох и зол? – этот герой есть *сегодня* главный герой 3-й подглавки первой главы Франка.

А все же – заводной я, слабый человек – вернусь к прямому спору.

Перед нами, напомним, два, а не три кита, на которых основаны система мироздания и место человека в нем у С. Л. – тезис и антитезис без синтеза. Между тем этот синтез, ИМХО, дан в любимом романе нашего автора, где на смертном одре герой, не думая излечиться от смерти чудесным бальзамом своей матушки, прямо говорит, что он отныне и вовеки не герой (но и не заводная игрушка), а всего лишь человек и добрый христианин Алонсо Кихано.

По моему низжайшему мнению (не побоюсь согрешить грехом религиозной тривиальности), тут Сервантес не иронизирует. Здесь, у смертного одра, он, ИМХО, серьезен. Не менее, чем Достоевский.

«Смирись, гордый человек».

Лурье (вычитываемый мною-дураком все же из его «Лурье») считает иначе. Он считает, что Дон Кихот – великий богослов, кощунственно-гениально в самом безумии своем обмирщивший, «о-дульсинеивший» богословие. И что Сервантес тут заединщик своего героя. Но, в отличие от простеца Санчо, «духовные-то лица – в курсе. То-то они и выются за Дон Кихотом на протяжении всего пути – бесчисленные каноники, священники, лиценциаты, экзаменуют, увещевают, обличают, противодействуют – и в конце добиваются своего».

А я вот считаю, что да – в конце добиваются. Но не своего, а Божьего. Противодействуя, но и содействуя (разные бывают «святоши», я их повидал за 25 лет в Церкви, бывают только святоши, а бывают, еще и как, – не только и не святоши) тому, чтобы безумец в конце – образумился. Стал из высокого безумца – еще более высоко = смиренно-разумным. Потому как ни более ни менее и воленс-ноленс – отходит в мир иной. Потому что «не в землетрясении Господь... после землетрясения огонь; но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Т. е. и в огне, и в землетрясении – пришлось же к слову! – тоже Он, но подлинно главный голос Его – в тихом веянии. Это, как все знают, из Книги Царств, о не менее высоко донкихоте, но не верующем в ваалов, преобразенных в дульсиней, а только в истинного Единого Бога, – пророке Илии. Он святошей не был, а был свят – и сидел один, повинувшись только Святому, «у потока Хорафа, что против Иордана», и вороны приносили ему пищу в клювах; а потом он вставал по слову Крепкого и шел один против всех бороться с их лживыми ваалами, а после удалялся на гору Кармел или, «чтобы спасти жизнь свою», в пустыню, где, до зела устав от всего, «просил смерти себе, и сказал: довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих», – но Ангел от Бессмертного говорил ему только: встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою, встань, ешь и иди – и он шел, не хуля Господа, и делал из последних сил, что должно было, – а там будь что будет.

Веяние *этого* ветра тихо, но всесильно. И разумнее – во всех смыслах – на смертном-то одре тихо же и покориться, тихими стопами и пойти в вечность: все равно дальше не получится идти *против*. Дальше – и без возврата – и без копья или пера – только Вечность. Вечное Ничто – или вечное: Все во всем. Риск выбора был до этого. Теперь риска нет: нет времени рискнуть. Да... А ну как *хоть один* из верующих, ну хоть один из святых, при жизни узревших прямой светящий Лик жизни вечной, не ошибся, не свихнул с ума, не был параноидным шизофреником, не был подвержен галлюцинациям и падучей? Ведь они, пусть, как у ап. Павла, «отчасти, сквозь тусклое стекло», но *все* они, кто «прорвался» в Небо ценою всей-всей земной жизни, – узревали *одно* и говорили об одном, и только том же самом. Не говорили, что знают, но *видели* – и вот это и транслировали... И если хоть один из сонма их – *не...* тогда и все они... тогда и донкихотову земному безумию, сколь бы высоко оно ни было, на смертном одре – правильнее подчиниться Разуму Верховному. А ну как вдруг Он и не зол и не издевается, а – ждет тебя к Себе на суд. Не

пролетарский, а настоящий — со справедливостью и милосердием, которое выше справедливости. Тогда во всех смыслах умнее стать алонсо-киханюю. Это и будет самое высокое донкихотово безумство — не убоявшись общего места, отринуть свое привременное безумие. По Уму.

Я так считаю, что и реальный человек своего Золотого — при всех его уродствах — века культуры Испании («Культура, словом, процветает» — а она-таки, без смеха, процветала), века не только справедливо-горько высеченных розгой Лурье-Сервантеса обычаев и нравов в «данной (в «Д К» — Ю. М.) энциклопедии испанской жизни», не только «сельской художественной самостоятельности: хороводы козопасов и все такое», но и — Кальдерона и Сурбарана, Кеведо и Веласкеса, Риберы, Лопе де Вега и Гонгоры, Молины, Мурильо, архитекторов, строивших новую столицу — Мадрид и — неподалеку — Эскориал (ну, не дураком ли я выгляжу в глазах самого-то С. Л., переселяя хрестоматийные имена по одной Иберии, вспоминая еще и в Южных, тогда испанских, Нидерландах еще и — под плотным испано-австрийским патронажем — Рубенса с его могучей школой, и издателя Плантаена, и... но ведь все эти великие были истовыми, и даже если кое-когда и неистовыми, то где-то — просвещенными католиками, «это же очевидно!»), — я считаю, что настоящий *тогдашний* испанец М. С. де Сааведра, стоя в *таком* строю, считал примерно так: во зле и не-вежестве лежит только *этот* мир, и много-много здешние простецы и сложнецы, но есть и Божий суд, и правда *есть выше*; и в этой иронии ироний, пародии пародий тут — при кончине героя — ничего не спародировано: безмерность огромного пародийного текста уравновешена короткой мерой серьезного конца. Точка.

С. Л. так, кажется, не считает.

Его право. Раз он принял на себя обязанность.

Быть скромным служителем и высоким рыцарем слова. Которое есть дело.

Это дело для людей, с виду северно сумрачных и бледных, но духом смелых и прямых (поди и поищи сегодня в культурной России таких). Потому что это дело и есть — страшно молвить — перманентно нести в себе дух прямоты. Прямота, бывает, и спрямляет, это у нее в крови (лучше самого Л. и не скажешь: язык неразведенной правды, губительный, но веселящий огонь!), зато она — ставит в угол. А то ведь у нас как сейчас? Я с детства не любил овал — я с детства *эллипс* рисовал. А прямота — умная, а не та, что проще воровства, — *обнажает*. Все контроверзы чести и бесчестия; свободы и рабопения; веры и неверия. Заостряет вопрос, чтобы обнажить — обнажив — совесть. У кого она есть.

Но если есть со-весть, со-вещающаяся с вестью, то — сначала — есть сама весть.

Тогда и бумажные дести о вести спасают людей.

А если нет вести, то на фи́га нам свобода со-вести? требующая для своего осуществления дальнейших свобод слова, печати и собраний?

Тоже вопросец.

Но хорошо еще, что мы задаем вопросы. А то бы все разделились окончательно на два лагеря: беззаветно-безвопросно верующих — и таких же, не вопрошающих, неверующих; тогда и нейтральная полоса — агностицизм, себестоимость коего мала, поскольку агностику его «не знаю» никакого усилия не стоит, — была бы чисто номинальной буферной зоной. Попросту: отрезали бы себя друг для друга верующие и неверующие — насовсем.

А так еще есть шанс — переговорить, если не договориться. Еще есть катера связи. Есть еще азбука Морзе: вопрос-ответ-вопрос. Как в фехтовании: парад-рипост. Еще есть мастера словесной шпаги. И вовсе не черт их догадал родиться в России с умом и талантом: в других местах без них, может, обойдутся. А вот Россия без них обойтись не может. Что в ней и есть-то, как не постаревшие — но не состарившиеся — русские мальчишки, сидящие по кабакам, а трендящие не без толку о Великих Инквизиторах. Это уже — какой-никакой, а тренд. Хоть куда-то (ну, у Ф. М. Д. говоруны и в кабаке, конечно, пили его любимый чернющий чай, «а об водке» — о горькой за сладким разговором — «ни полслова»: чего и говорить-то о ней — наливай да пей, освежаясь, — все лучше, чем чифирь или финиковую гонять — см. выше) — хоть в позавчера, которое лучше нашего послезавтра: ведь тогда нас еще не было, и мы можем воображать его по желанию (Л., правда, не воображает, он знает, что нечего такого и воображать, мы живем в России, которую никогда не теряли), *ad libitum*, с позволения сказать, — а сегодня-то мы уже здесь. И видим: всё, кроме русских мальчишек (но всё воспроизводятся — «вот он, вот он, русский Бог!») еще долго-долго, похоже, — будет ни в пир-ни в мир-ни в добрые люди. А казалось, казалось еще вчера...

Дорогие мои, понимаете ли, харрошие.

Резюме или – как у чтимой мною И. Роднянской – в сухом остатке: снимаю шляпу перед таким способом понимать и таким умением довести свое понимание до читательского ума. Пока у русской литературы будет читатель, – в этой условной земной вечности Л. будет одним из вечных спутников этого читателя. Остаётся пожелать, чтобы этот читатель был хотя бы в первом приближении похож на самого Самуила Ароновича Лурье .

Мастера *действительного о-лице-творения* своей любви – не к маргаритам и прочим прекрасным дамам. А к бессмертной искре.

Невозможным образом – пусть породивший её огонь и уходит н а в с е г д а – раз *навсегда* просиявшей над целым мирозданьем.